

ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

Р. АРОН

ИЗМЕРЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ПАРИЖ, 1961

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЛОСОФА

Проблема социальной ответственности философа может быть проанализирована двумя способами: либо в соответствии с тем, как ее рассматривают философы или профессора философии как частные лица, либо в соответствии с тем, как ее рассматривают философы как таковые.

Боюсь, что первый способ рассмотрения будет стерильным. Мы имели бы случаи официальных пошлостей или набожных проповедей. Профессора философии являются добрыми отцами, супругами, гражданами. Они работают на мир, на чувство собственного достоинства человека, на взаимопонимание. Тем больше согласия, чем больше собеседники придают одним и тем же словам разные смыслы.

Второй способ рассмотрения плодотворен, но труден. Нужно будет определить, в чем суть философии, чтобы отсюда сделать вывод об ответственности, которую она несет по отношению к обществу.

Я здесь рассмотрю несколько аспектов этой социальной ответственности философа. Какую позицию философ как таковой занимает в отношении города (*сита*), партий, исторических конфликтов?

1. Специалист, идеолог и философ

Проблема, с которой сталкивается философ Европы в конце XX столетия, была поставлена достаточно ясно греческими мыслителями в V в. до нашей эры.

В Греции города (*ситае*)¹, которые были средой обитания политической жизни, имели смутное представление о принадлежности к общей цивилизации, но они были организованы в соответствии с различными режимами, были различными и идеологии, которых придерживались группы, противостоявшие друг другу внутри Афин. Эти группы, которые мы не осмеливаемся назвать классами, поскольку оставляем в стороне рабов и метеков и имеем в виду только граждан, были не равны в богатстве. Они следили за тем, что происходило за пределами их города, и искали модель, соответствующую их предпочтениям, в жизни другого города, нередко являвшегося противником их города. Внутренние раздоры самым запутанным образом смешивались с борьбой между городами, конфликты за свои интересы были обострены и преобразованы идеологическими несовместимостями.

Где находился философ в этой исторической обстановке? Прежде всего он был одним из собеседников в диалоге, который сам по себе воплощал жизнь города и жизнь духа. А не нужно ли, чтобы капитан корабля знал законы навигации? Чтобы плотник умел резать дерево, чтобы врач умел ухаживать за телом? Можно ли доверять больного или корабль несведущему человеку, неумелым рукам? Капитан города должен быть «ученым», как и капитан корабля. Но что за наука, которой должен овладеть руководитель государства?

Философ отвечает, что такой наукой является наука о добре и зле. Специалисты нас учат тому, чтобы добиться будущих целей. Есть военная наука, но чему будет служить победа? Есть экономическая наука, но к чему богатства? Философ находится вне того знания, которое связано с техническим образованием, но не потому, что он не нуждается в науке, а потому, что его наука имеет конечный и безусловный характер. Она есть наука наук, раскрывает смысл прикладных наук и указывает конечную цель существования.

А существует ли эта наука наук? Если философия не есть наука наук, то она сразу же оказывается ниже прикладных наук и становится занятием для софистов, которые вообще оправдывают любой тезис. Философ сам себя считает крайним противником софиста

¹ В дальнейшем будем употреблять только слово «город». (Прим, переводчика).

(или, как бы мы сегодня сказали, идеолога), но публика плохо отличает философа от софиста. Более того, тот, кто хочет быть философом, может быть принят одним из своих коллег за софиста. Кто может решить спор? Кто вынесет суждение о противоположных претензиях? Если мы все вовлечены в диалог, то нет, изолированного собеседника, и только такой собеседник может быть судьей.

Софисты и философы также отмечают, что «истина находится по эту сторону Пиренеи, а ложь – по ту сторону». Они наблюдают разнообразие обычаев и учреждений. И те, и другие должны учитывать то, что мы называем социологией – объективное изучение и объяснение учреждений. «Политика» Аристотеля есть отчасти сравнительное исследование различных форм правления городов, их достоинств и недостатков, их рождения и смерти. Но социолог игнорирует философию, если он ничего не видит по ту сторону наблюдения и научного объяснения.

Как выделить достоинства и недостатки какого-нибудь режима, если не знают того, что хорошо? И кто скажет то, что хорошо само по себе, если не философ? В таком случае только он, очень далекий от того, чтобы оправдывать любой лагерь и увековечить относительность ценностей, способен уловить истину и добро, избавленные от исторической релятивности. Если его путают с софистом, то лишь потому, что оба исходят из одного принципа: он тоже не принимает законы города как нечто абсолютное. Он релятивизирует законы своего собственного города, потому что этот город является одним из городов среди других, но он стремится к тому, чтобы определить законы самого лучшего для всех городов.

Однако философ подвергается двум опасностям: может ли он установить универсально годное для всех людей добро, может ли определить самый лучший режим? Если предположить, что ему это удастся, то может ли он перейти от понятия самой хорошей жизни или от понятия самого режима к суждению о предпочтительном *hicet nunc*²? Когда философ принимает участие в спорах, то не обречен ли он на то, чтобы изменить своему званию и вести себя как софист?

Полемики вокруг личности и действий Сократа и Платона – полемики V в. до нашей эры – иллюстрируют двойную опасность.

² Здесь и теперь (лат.).

Что из себя представляют *идеи*, которых достигает философ и которые ему дают критерий истины? Не является ли самый лучший государственный строй, изложенный (Платоном. – *Пер.*) в «Государстве», в конечном итоге преобразованием реакционной ностальгии, мечтой старых патрицианских семейств? Тоталитарное государственное устройство, подвергшееся чрезмерной критике в XX в. Претензия философа хранить вместе с абсолютной истиной секрет наилучшего государственного устройства, мечта доверить «ученым» полную власть есть сам корень тоталитарной тирании.

Каков бы ни был смысл попыток Платона реализовать свои мысли, которые Аристотель имплицитно считал причиной македонской монархии, фактом остается то, что раз он был ангажированным философом, его не всегда можно было отличить от софиста. Выбрав одну партию для осуществления своей программы реформ, он потерял четкую достоверность своих идей и погрузился в действительное агрессивное сомнение.

Социальная ответственность философа? Выясним прежде всего вопрос об ответственности философа в отношении философии. Должен ли он защищать любые законы, поскольку хочет быть хорошим гражданином? Должен ли он недооценивать законы своего города, поскольку они не лучше, чем законы другого города? Должен ли он оценивать и реформировать законы, ссылаясь на лучшее государственное устройство, на вечные идеи и на по сути дел лучшую жизнь? Попытались ответить утвердительно на все эти три вопроса. Философ подает пример подчинения законам (Сократ соглашается на смерть). Философ учит относиться безразлично ко времени и месту. Философ ищет вечную истину разнообразного и беспорядочного подлунного мира. Но может ли он одновременно уважать законы, сознавать историческую релятивность и любить Идеи? Но если он после изложения Идей снова возвращается к своим согражданам, то не становится ли либо революционером, потому что установил разрыв между реальным и идеальным городом, либо скептиком и консерватором, потому что установил разницу между всеми городами и идеальным городом?

2. Дополнительное измерение

Диалог между специалистом, софистом и философом продолжается в наше время, хотя внешне специалист и софист имеют бесспорное преимущество и философ кажется затемнен своими противниками. Но как вмешаться в дела города, если игнорируют возможные последствия политических различий, между которыми колеблются управляемые и управляющие? Нужно ли предпочитать частную или общественную собственность на средства производства? Но что значит предпочтение в одинаковой обстановке? Мораль всего-навсего предполагает, чтобы отныне собственность на заводы рассматривалась как социальная функция. Но лучше ли будет исполняться эта социальная функция, если собственность в юридическом смысле слова будет распределена между сотнями тысяч акционеров или сконцентрирована в государстве? Вопрос имеет не философский, а социологический или политический характер: наука на него дает вероятностный ответ, которым должен руководствоваться государственный руководитель. Мы сознательно взяли «маргинальный» пример, потому что вопрос содержит идеологические отзвуки. Доказательство было бы намного облегчено, если бы мы взяли один из многочисленных вопросов, которые ежедневно ставятся перед правителями и связаны с учетом интересов, расширением или сокращением мирового спроса, с процентами на инвестиции и т. д. Можно ли сказать, что философ далек от этих забот? Но если он безразличен к экономическому росту, то так же безразличен к средствам, необходимым для выполнения задач, неотложность которых он провозглашает. Как общество может преодолеть классовые различия, если недостаточно развиваются производительные силы? Либо философ игнорирует все экономическое и ограничивается определением целей, даже не зная о возможности их достижения. Либо он, подражая Марксу, изучает экономику, но знает ли сам, когда он выступает как специалист и когда как философ.

Софист тоже из этнографической или исторической науки и из реального опыта получает сильную помощь. Где можно найти общее измерение между жизнью архаических и жизнями цивилизованных обществ? В некотором смысле первые не менее совершенны, чем вторые: в них индивид интегрирован с целым, и никто не смог бы доказать, кто счастливее – бороро или янки. Преимуще-

ство современных обществ непосредственно видно, если брать за критерий ценность, которую промышленная цивилизация считает главной, знание, эксплуатация природных ресурсов, развитие производительных сил. Человек XX века – человек, который в наш век ответствен за Бухенвальд, за атомную бомбардировку Хиросимы, за негативность аспектов культа личности. Этот человек не является ни более мудрым, ни более добродетельным, чем стратеги Афин и Спарты, ярость которых довела Пелопоннесскую войну до истощения всех воюющих сторон, или чем императоры Рима, Византии или Москвы.

Оставим даже это разнообразие, которое нам представляют века. Пусть каждый вспомнит свою собственную жизнь. Большинство европейских стран в течение нашего века пережило различные государственные устройства. Германия Вильгельма, Веймарская республика, гитлеровская Германия, панковская Германия³, боннская Германия: к какой Германии немец добровольно принадлежал? Коммунисты и гитлеровцы одинаково резко критиковали в 1932 году Веймарскую республику. Коммунисты и демократы одинаково резко критиковали в 1941–1945 гг. III рейх. Коммунисты изобличали сильно Федеративную Республику Бонна, и тем же отвечали им демократы, критикуя Народную республику Панкова. Всякий раз находились люди для оправдания действительности или бунта, и среди них фигурировали профессора философии. Где был настоящий философ в течение этих трагических перипетий? Будучи безразличным к волнениям форума, сохранял ли он определенный взгляд на Идеи? Осуждал ли он все режимы поразному или одинаково строго? Выбрал ли навсегда поле – поле западной демократии, потому что он терпимо относится к ереси, или поле коммунизма, потому что претендует на воплощение будущего?

Чем наш диалог отличается от диалога греков? На мой взгляд, прежде всего тем, что он вместе с понятием истории получил дополнительное измерение. Мы не вынуждены колебаться между историческим релятивизмом и вечными идеями, нам предлагается дополнительный выход: историческое разнообразие преодолевается не в сверхчувственном мире Идеи, а в обществе будущего. Кон-

³ Германская Демократическая Республика. (Прим, переводчика).

фликты, какими бы они ни были жестокими, якобы являются средством примирения, этапом пути, который приведет к бесклассовому обществу.

Философ и идеолог возобновят платоновский диалог, но первый сошлется не только на Идеи, но и на всю историю или на будущее, а второй, будучи пленником особого типа общества или анархии ценностей, не будет признавать законы становления или истину о будущем. Идеолог, как когда-то софист, отвергает претензии философа. По мнению идеолога, философ является вдвойне идеологом, поскольку он, идеолог, не знает самого себя и ошибочно воображает, что избавляет от ограниченных условий человеческого существования.

Еще труднее в XX веке нашей эры, чем в пятом веке до нашей эры, сделать выбор между тремя обязанностями, которые навязывает традиция альтернативно или одновременно философу. Как учить уважению любых законов во времена III рейха и других террористических режимов? Как относиться равнодушно к революциям и войнам, в то время как политика властвует над нашими душами? Какой режим будет сопротивляться сопоставлению с Идеями? Как определить среди режимов тот, который выступает против режима, прокладывающего путь к будущему?

Более того, речь меньше идет о социальной ответственности философа, чем об ответственности самой философии. Что нам дадут вера или скептицизм, релятивизм или вечная истина?

3. Поиск Истины

Если бы между этими двумя противоположными терминами не было ни посредничества, ни компромисса, то положение философа, если можно так выразиться, было бы безнадежным. Он должен был бы либо поддерживать фанатизм, либо разрушить верования: и в том и другом случае он покушался бы на добро города или сообщества городов. Гражданин, больше не верующий в ценности своего города, так же опасен, как гражданин, который к ним чрезмерно привязан.

Альтернатива исторического релятивизма или вечных Идей не преодолевается раз и навсегда, но она преодолевается постепенно

путем философской рефлексии. Обычаи многообразны, и презрение обычаев других есть признак отсутствия философской и исторической культуры. Отсюда не следует, что преследование расовых, религиозных и политических меньшинств может быть оправдано как выражение институционального разнообразия. Эти преследования являются нарушением формального правила – уважение другого, которое можно считать вечно пригодным, хотя формы его применения меняются. Этот поверхностный анализ трудной проблемы желает только выдвинуть предложения или различия, которые должна исследовать философия. Есть обычаи, которые по праву разнообразны и которые было бы ошибочно соотнести с истиной или ложью или даже аранжировать в иерархическом порядке. Они выражают изобретательного творца – гения, которого нельзя ограничить единственной моделью.

Очень часто социальные условия ставят под вопрос моральные императивы. Но они универсально пригодны лишь при условии их формализации. Истина о том, что между людьми имеется универсальный принцип взаимности или равенства, вечна и малозначима. Смысл, который придают века и цивилизации этому принципу, изменяется. Если взять его в неизменном виде, то он будет критиковать все общества, которые были иерархическими и несправедливыми. Если придать ему слишком туманный смысл, то он не будет ничего и никого осуждать. В каждую эпоху ему придавали определенный смысл, что не влекло к глобальному одобрению или осуждению действительности.

Философы не согласны друг с другом ни по вопросу о смысле, который получают формальные принципы в данную эпоху, ни по вопросу о вечном смысле, который можно им придать. Но тем не менее полемика между философами об исторической и универсальной части не напрасна. Она предупреждает против обобщенных догматизмов, она есть подлинный метод политического и морального поиска. Науки о природе являются историей одного открытия, накоплением суждений для постоянного уточнения, истинность которых примерно окончательно установлена. Открытие ценностей или морали не похоже на открытие научной истины. Соответствие эксперименту, верификация отсутствуют. Но история мысли, сама история действительности позволяет с учетом разницы формаль-

ных правил и институциональных разнообразий выработать общность ценностей.

Критическая рефлексия над историей имеет ту же функцию: она раскрывает иллюзорный характер альтернативы отдельного и общего. Мышление историцизма рискует бросить философа в лагерь софистов: если сама философия как таковая неотделима от времени, класса, города, то осознание этой историчности не может не разрушить наивные верования. Почему философ остается верным ценностям парламентской демократии, если она является лишь инструментом буржуазного господства? То же самое будет касаться ценностей социализма, если он в свою очередь представляет собой прикрытие господства другого класса. Историческое мышление избегает полного релятивизма лишь в том случае, если оно исходит из конца истории и истины целого. Совершают скачок от недооценки буржуазной демократии к абсолютной переоценке социалистической демократии, потому что она оказывается в конце исторического развития и представляет собой цель самого человечества. В рамках этой исторический философии становятся пленником следующей альтернативы: либо обесценить режим, который считали конечным, но тогда возвращаются к генерализации релятивизма; либо утвердить абсолютную ценность режима, но тогда предаются экзальтации фанатизма. Правильно интерпретированная критика показывает ошибочность этой ложной дилеммы.

Большинство режимов нашего века (само собой разумеется, включает гитлеровский режим) ссылаются на одни и те же ценности: развитие производительных сил с целью обеспечения всех людей условиями достойной жизни, отказ от неравенства, закрепление юридического и морального равенства граждан. Экономический рост и всеобщее гражданство тоже характеризуют так называемые народные режимы и так называемые режимы западной демократии.

Ни один из этих режимов полностью не верен своим собственным принципам. Ни один не устранил неравенство доходов, ни один не уничтожил иерархию должностей и престижа, ни один не устранил различия между социальными группами. Зато ни один не кажется не способным продолжать рост, ни один не парализован внутренними противоречиями. Буржуазные демократии достигли

стадии Welfare State⁴, народные демократии борются с пережитками культа личности. Колониальные империи, созданные народами Европы в течение прошлого века, оканчиваются распадом или преобразованием в конфедерации. Народные демократии также должны превратить в действительность принципы национальной независимости и равенства государств.

Почему один из этих режимов хвастается тем, что будет конечным и абсолютным? Пророчества прошлого века предполагали, что экономики, базирующиеся на частной собственности, якобы будут не способны к прогрессу на определенном этапе или что они будто бы будут не в состоянии обеспечить всем преимущества технического прогресса. Происходит совсем по-другому. Экономики буржуазной демократии обеспечивают относительно высокий уровень жизни, может быть, менее быстрый рост в той мере, в какой процент инвестиции по отношению к национальному доходу более низкий. Но Маркс считал, что быстрый темп накопления есть характерная черта капитализма.

Если оба вида режима – восточный и западный – подчиняются одним и тем же императивам, то у философа нет никакого повода абсолютно переоценивать один режим и недооценивать другой: никакой детерминизм заранее не вызывает непримиримую борьбу между ними и полную победу одного или другого; никакая моральная рефлексия не позволяет приписывать одному все достоинства, а другому все недостатки.

Возможно, что борьба между этими двумя режимами будет идти до конца (как борьба между Спартой и Афинами). Но это будет не первый и не последний раз, когда насилие решает спор. Все, что философ может и должен утверждать, это то, что взятая в целом история не вписывается в диалектику, которая заранее обеспечивает победу одной партии и позволяет нам предсказать исход.

Историческая целостность не завершена. Нам не известно окончание исторического развития, не известен также результат детерминизма. Мы не имеем права ссылаться на неизбежное будущее для оправдания сегодняшнего режима, который, как и другие режимы (неважно, что более или менее несовершенны), несовершенен. В эпоху, когда человечество имеет средство перепрыгнуть самого

⁴ Государство благосостояния. (Прим, перев.).

себя, сделать на планете жизнь невозможной, необходимы особенное доверие или особая необдуманность, чтобы поставить себя на место Бога (в которого не верят) и смотреть happy ending⁵ по ту сторону мрачных веков. Если даже мы будем абстрагироваться от рисков и опасностей, которые связаны с иррациональностью людей, несмотря на разумный характер человека, ссылка на смысл истории (в значении predetermined будущего) была бы неправомерна: черты будущего государственного устройства, которые законно можно считать неизбежными, не определяют ни один из соперничающих лагерей; их представляют реализованными благодаря победе как одного лагеря, так и другого. Экономический рост и всеобщность равенства, общее благополучие и равенство индивидов постижимы на горизонте как западных, так и народных демократий.

Далее, ни один из режимов, считающих своей целью примирение людей, не может быть полностью оправдан или радикально осужден философией. В нашу эпоху все режимы индустриальных обществ имеют различия в социальных группах независимо от того, являются ли средства производства общественными или частными, ни один режим полностью не осуществил идею бесклассового общества или признания человека человеком. Все преследуют в разной форме одну и ту же цель. Необходимо применить социологический анализ для того, чтобы доказать возможность или невозможность, вероятность или невероятность осуществления каждым из этих режимов своих имманентных целей.

Историческое измерение придает новый смысл противоположности софиста и философа, идеолога и диалектика. Но в основном оно не меняет их диалог. Произошло бы значительное изменение, если бы диалектику было дозволено соединить в лагерь партию и режим с целью истории. Но этому диалектику не хватало бы диалектики, если бы он совершил такое соединение, как философу не хватало бы философии, если бы он приписал режиму достоинство Идеи. Вклад исторического измерения состоит в изображении во время диалога соотношения отдельного и общего. Именно сквозь время и сквозь борьбу и насилие, а не только в неподвижности вечного диалога осуществляется поиск Идеи, которую разрабатывает

⁵ Счастливым концом. (Прим, перев.).

город, граждане которого должны были бы вести жизнь, соответствующую одновременно нравственности и позитивным законам.

Отсюда не следует, что смысл исторических конфликтов незначителен и философ может или должен им не интересоваться. Напротив. Для философа очень важно, чтобы Власть ему дала право размышлять, критиковать, не заставляя его прославлять действительность. Все, что мы хотим сказать, – это то, что История, как и Идея, не предоставляет философу право приукрашивать один режим и проклинать другой, это также то, что критика философом одного социального института соотносится с определенной нормой, но предполагает суждение о фактах и казуальных связях, которые больше зависят от социологии, чем от философии. Делегирование всей власти единственной партии не есть и не может быть последним словом политики, потому что она исключает из города и лишает свободы всех тех, кто не принадлежит к этому привилегированному меньшинству. Но исторически (релятивно) такое делегирование считается приемлемым или прискорбным в зависимости от результатов, которых от него ожидают, а также в зависимости от того, считают ли возможным или невозможным, вероятным или невероятным раскол единственной партии и восстановление для всех гражданства. Суждение о режиме однопартийной или многопартийной системы базируется на сравнительном и объективном изучении социальных институтов. Философ как таковой может только показать то, чего недостает тому и другому режиму, чтобы полностью добиться провозглашенной цели.

4. Долг перед государством

Философ прежде всего несет ответственность за философию. Именно в той мере, в какой он служит философии и истине, он служит и городу. Тем не менее обстоятельства могут создать противоречия между различными долгами, которые философ как таковой берет на себя.

Философ, влюбленный в Идею или во взгляд, направленный в далекую целостность становления, не может придавать частным законам своего сообщества абсолютную ценность, которую необдуманно наивно им приписывает и которую фанатизм хочет заста-

вить признать. Когда даже философ учит подчиняться позитивным законам, он склонен обосновать подчинение аргументами, которые легко считаются несерьезными. Сократ был спутан своими противниками с софистами, он был обвинен в нарушении традиции, власти обычаев.

Нетрудно представить обстоятельства, когда безропотное подчинение даже не предлагает выхода. Нужно ли учить подчинению законам, когда господствует произвол и когда в некотором смысле законы (которые, по крайней мере, предполагают формальную всеобщность) исчезли? Решение как таковое о подчинении или бунте не может быть принято только философией. Философ был героем, когда на двери палачей собрался написать: *ultimi bar-barorum*. Если бы он один, глухой к шуму событий, продолжил свои размышления, то он не обманул бы ожидания.

В нашу эпоху философы, как никогда, чувствуют себя более ответственными, потому что события, кажется, принимают вид духовной судьбы человечества, потому что справедливая организация сообщества считается конечной целью с момента потери веры в трансцендентальное. Он хочет быть одновременно и специалистом, и философом, часто склонен превращать в абсолютную истину, может быть, своевременные, но в некоторых случаях сомнительные советы. Осторожность, он также часто путает средства и цели, отдельное и общее и не в состоянии сохранить разницу и тесную связь между историческим и универсальным, между социальным институтом, связанным с временным моментом, и конечным обществом, мысленно постижимым, но конкретно непредсказуемым.

Если можно так выразиться, философия есть диалог средств и цели, релятивизма и истины. Она начинает отрицать сама себя, если прекращает диалог в пользу того или иного решения. Она верна самой себе и своей социальной ответственности в той мере, в какой отказывается жертвовать каким-либо из этих противоположных решений, взаимосвязь которых характеризует поведение мыслящего человека.

Остается узнать, будет ли общество терпеть философа, который никогда полностью не подчиняется. Или еще, раз определены функции, которые философ должен исполнять в отношении общества, то как не задаться вопросом о функциях, которые общество

хочет взвалить на философа? В самом деле, одной из характерных черт нашей эпохи является наличие режимов, которые не удовлетворяются пассивным и равнодушным подчинением масс. Эти режимы хотят, чтобы все их любили, все ими восхищались и чтобы все их обожали, даже те, кто имеет солидные основания их ненавидеть. В прошлом веке Эльзас и Лотарингия были аннексированы Германской империей, представители обеих провинций официально протестовали против насилия, которое было совершено в отношении их. В наш век жертвы аннексии воспевают благодарственное молебствие и 99,9% избирателей публично подтверждают насилие своим голосованием. Чем больше презирается тиран в глубине души, тем больше он обожествляется теми же, кто замышляет его гибель. Власть требует от философа не только подчинения, но и оправдания покорности.

Некоторые сторонники рефлексологии утверждают, что действительная манипуляция рефлексами позволяет получить эквивалент превращения. Идеологи будут формировать такую психическую систему, которую можно внушить еретикам и неверующим. Философу угрожает сделаться святым: он становится инструментом техники, в то время как хочет господствовать над всеми техниками, потому что он определяет их ценности и цели. Как во времена религиозных преследований, философ ищет убежище в молчании или хитрости. Он не всегда имеет возможности ничего не говорить и презирать власти. Обреченный на то, чтобы говорить, он зарезервирует в своем сознании место для тайника своей свободы. Угрожает ли ему потерять свою неприкосновенность то, что он делает вербальные уступки Власти? Я думаю, что в конечном счете дух избегает тирана, если даже он вооружен средствами науки. В сущности, если философом является тот, кто ищет истину и сопротивляется принуждению, то отметим, что в наш век ему неоднократно угрожали, но он окончательно никогда не был побежден.

Неважно, размышляет ли о мире или вовлекается в действие, учит ли подчиняться законам или уважать подлинные ценности, поощряет ли бунт или предлагает необходимость реформы, философ все равно выполняет функции своего государства одновременно в городе и за его пределами, разделяя риски, а не иллюзии партии, которую он выбрал. Он прекратит быть достойным своего

имени только тогда, когда разделит фанатизм или скептицизм идеологов, когда согласится с инквизицией теологических судей. Никто его не может осуждать за то, что он говорит так же, как власть имущие, если он может выжить только благодаря такой цене. Будучи советником Государя и искренне убежденным в том, что какой-то режим соответствует логике Истории, он участвует в борьбе и несет тяжелые обязанности. Но если он перестает интересоваться поисками истины и подстрекает безумцев верить в то, что у них они хранят конечную истину, то он отрицает самого себя. Нет больше философа, есть только специалист или идеолог. Имея богатые средства, но не зная цели, люди будут колебаться между историческим релятивизмом и безрассудной и иступленной привязанностью к причине.

Философ тот, кто ведет диалог с самим собой и с другими для преодоления действием этого колебания. Таков его государственный долг, таков его долг в отношении города.

Перевел с французского И. Л. Гобозов